

«Человек рода он»: знаки отсутствия

Сергей Ушакин

КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, США

Мужчина – человек рода он, не женщина, мужского пола...
Мужество – состояние мужа, мужчины, мужского рода, пола
вообще; протвплж. *женство*.

Владимир Даль (1881)

Человеческие существа рождаются на свет наделенными самыми различными и непохожими друг на друга предрасположенностями и склонностями. Но каким бы основной, биологический жребий ни был, анализ открывает субъекту его значение. Значение это представляет собой функцию некой речи, которая речью самого субъекта и является, и в то же время не является вовсе, - ведь речь эту он получает уже готовой и служит ей всего лишь проводником.

Жак Лакан (1955)

В конце семидесятых годов прошлого века Синди Шерман (Cindy Sherman), американский фотограф и художница, начала работу над серией черно-белых фотографий, получивших известность как «*Кинокадры без названий*». Шестьдесят девять фотографий действительно напоминают кадры из хорошо знакомых фильмов, однако попытки вспомнить названия этих фильмов заведомо обречены на провал. «*Кинокадры без названий*» являются лишь стилизацией, в буквальном смысле инсценировкой лент, которые никогда не были сняты. В центре каждого «стоп-кадра» - сама Шерман в той или иной «типичной» женской роли и ситуации: будь то «секретарша», «роковая женщина», «побитая жена», или, например, «спортсменка». Несмотря на отсутствие на-

Прим. редактора. Данный текст является частью вступления к сборнику статей «О муже(N)ственности», выходящем осенью 2001 в издательстве Новое литературное обозрение (Москва).

званий, «кадры» довольно красноречивы – ощущение «знакомства» с *сюжетом фильма* достигается на основе активации ощущения знакомства с тем или иным *женским образом*, стереотипом, клише. Визуальный стереотип становится сюжетным приемом, способным обеспечить необходимый смысловой эффект, вернее, - запустить в действие уже сложившуюся матрицу осмысления зрительного опыта.¹

Подобная каталогизация визуальных стереотипов, предпринятая Шерман, безусловно, во многом напоминает известные структуралистские попытки Вл. Проппа составить исчерпывающий перечень заведомо ограниченных возможностей сказочных сюжетов. В отличие от пропповской «морфологии волшебной сказки», принципиальной – и дестабилизирующей – чертой проекта Шерман, однако, является то, что, сюжетные линии и стереотипы «*Кинокадров без названий*» не существуют изолированно друг от друга. Многообразие, структурная и сюжетная несовместимость «ролей», сыгранных Шерман в «*неназванных*» фильмах, лишь подчеркивает постоянное присутствие одного и того же телесного «экрана», который выступает физической основой и физической предпосылкой реализации этих многочисленных «ролей». Шестидесят девять кадров в итоге становятся *серией*, самостоятельным фильмом Шерман, фильмом о невозможности свести историю (жизни) женщины к тексту ее «*главной*» роли, фильмом о самой невозможности этой «*главной роли*», способной определить и/ли исчерпать (творческий) потенциал «актрисы». Говоря иначе, «*Кинокадры без названий*» становятся фильмом о принципиальном несоответствии между социально доступными и социально узнаваемыми *изображениями* «женственности», с одной стороны, и конкретным *телом*, с другой.²

Не претендуя на полноту обобщения, целью данной статьи является сходная двойственная попытка одновременно и начать каталогизацию уже клишированных (или пока еще только клише-образных) конфигураций «*мужественности*», и понять как именно осознается несоразмерность этих клише и их «исходных» носителей, т.е. как именно, используя идею Жака Лакана, заявленную в эпиграфе, проявляет себя та двусмысленная принадлежность речи («своя/чужая»), благодаря которой субъект познает значение (д)оставшегося ему жребия.

Сформулирую чуть иначе: помня выводы еще одного теоретика языка и речи – Фердинанда де Соссюра – можно сказать, что задача состоит в том, чтобы на примере категории «*мужественности*» продемонстрировать хорошо известный – и давно подмеченный – факт несовпадения *языка*, т.е. коллективной «совокупности впечатлений, имеющих у каждого в голове», и *речи*, т.е. «суммы всего того, что говорят люди»,³ т.е. попытаться акцентировать то,

¹Работа над проектом велась в 1977-1980 гг. В 1995 г. Шерман впервые полностью выставила «*Кинокадры без названий*» в одной из Вашингтонских галерей. Музей современного искусства в Нью-Йорке, владеющий этой серией, объясняет окончание проекта тем, что Шерман исчерпала полностью словарь доступных ей «клишированных женщин».

²Подробнее см., например: Leuken V. (1997) Cindy Sherman and her «*Film Stills*» – Frozen Performance. // *Cindy Sherman*. Rotterdam: Museum Boijmans.

³Соссюр Ф. (1977) *Труды по языкознанию.*, пер. с фр. М.: Прогресс, 57.

где/как именно возникает и/или как именно маскируется разрыв между «отпечатками, в голове» и «суммой» *сказанного и сделанного*.

Выбор «*мужественности*» в качестве основного объекта анализа обусловлен рядом причин. Разумеется, наиболее значимой из них является свойственное современному общественному сознанию стремление к тому, что Лев Шестов называл «преодолением самоочевидностей». В данном случае речь идет о попытке понять то, каким *образом* достигается «*самоочевидность*» таких понятий как «мужчина» и «мужественность» в частности, и «пол» и «половая идентичность» в целом, в силу чего и за счет чего они приобретают свою «устойчивость» и «незыблемость», и, наконец, какую цену приходится платить тем, для кого ни «очевидность», ни «истинность» этих понятий не являются ни устойчивыми, ни незыблемыми.

Попытка проблематизировать и – отчасти – дестабилизировать понятие «мужественность» имеет и еще один, вполне очевидный, источник. На мой взгляд, теория западного феминизма 1990-х годов в значительной степени смогла преодолеть свою «узко-цеховую» раздробленность и самопоглощающий «нарциссизм мелких различий» и в ряде работ, посвященных прежде всего вопросам субъектности и субъективности, сумела предложить методологические концепции, которые выходят за пределы исключительно «женской» тематики. Попытка анализа основных конфигураций «мужественности», предпринятая в данной статье, во многом продиктована как стремлением «адаптировать» к местным условиям западные теоретические концепции и схемы, так и усилием противопоставить зачастую абстрактным и безликим рассуждениям о наследии «отечественного патриархата» конкретный анализ специфических форм его проявления.

(Само)очевидность роли теории *западного* феминизма в анализе *местной* «мужественности» – следуя призыву Шестова – требует своего естественного «преодоления». Суть этого преодоления, на мой взгляд, во многом определяется характером и способами интеллектуального взаимодействия между «Востоком» и «Западом». Взаимообмена, чей (потенциальный) диалогизм нередко сводится до уровня банальной (и односторонней) транслитерации понятий. История «*гендера*» в России – один из наиболее типичных примеров подобного рода.

Поскольку терминологическая неразборчивость, усиленная терминологической экспансией подавляющего числа сторонников исследований «*гендера*», очень часто ведет к концептуальной и теоретической невнятности анализа «мужественности» и «пола», я кратко попытаюсь обрисовать основные структурные причины, которые, на мой взгляд, активно способствуют формированию «гендерного тупика» как особой ветви отечественной социологии и философии пола.

Подкованный «гендер»

По своей роли в пост-советских общественных науках «*гендер*» во многом напоминает мне «*ваучер*». В то время, как единицы успели «ориентироваться» и вовремя вложили свой «*гендер*» (или ваучер) в доходный фонд, основная часть гуманитарно настроенной общественности, оказавшись не в со-

стоянии перевести на язык «родных осин» эту полезную категорию, так и продолжает безучастно оставаться в стороне.

Как так получилось, что категория, потенциально способная если не подорвать, то в значительной степени изменить сложившиеся/сложенные представления о механизмах воспроизводства полового неравенства, о механизмах производства субъектности и субъективности, о механизмах реализации власти, и, наконец, о механизмах производства желания и форм его удовлетворения, при «перевode» на русский оказалась лишенной своего «революционизирующего» запала? Как так произошло, что категория, затрагивающая *все основные* сферы жизни и деятельности человека, в отечественной интерпретации оказалась неспособной спровоцировать какой-либо *значительный* интерес со стороны специалистов-обществоведов, оставаясь во многом категорией академического меньшинства, особо и не пытающегося преодолеть (собственноручно воздвигнутую) полосу отчуждения?

Из известного лесковского рассказа про левшу обычно хорошо помнят то, что стальную танцующую блоху-«нимфозорию» – подарок англичан русскому императору – подковали тульские мастера-умельцы. Реже помнят другое – что блоха после такого ювелирного облагораживания танцевать перестала. Изумленные англичане долго допытывались у Левши, где и чему тот учился и «до каких пор арифметику знает». Выяснив, что арифметику не знает вовсе, посетовали: «Это жалко..., а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует».⁴ «Гендер», переведенный на русский, на мой взгляд, оказывается в сходной ситуации – он с трудом «прыгает» и уж точно «не танцует». Тяжесть местных подков оказалась непосильной для «аккуратно рассчитанной точности» англоязычной аналитической категории.

Отечественные исследователи «гендера» в своих работах любят ссылаться на Джоан Скотт, специалиста по французской истории из Принстона, которая в 1986 году предложила расширить аналитический арсенал науки за счет использования термина «gender», этой «полезной категории исторического анализа», как ее охарактеризовала сама Скотт. В отечественном варианте, однако, в этой формулировке акцент обычно делается на прилагательном «полезный», в то время, как *категориальная, аналитическая* природа «гендера» остается, как правило, в тени. Приведу типичный пример. В недавней статье, посвященной трансформации «истории женщин» в «гендерную историю», московский историк констатирует, что, «...будучи фундаментальным организующим *принципом описания и анализа* различий в историческом опыте женщин и мужчин, их социальных позициях и поведенческих стереотипах и в чем бы то ни было еще, *категория* гендера должна быть методологически ориен-

⁴Лесков Н. (1973) Левша (сказ о тульском косом левше и стальной блохе). // Лесков Н. С. *Собрание сочинений в шести томах*. Т. 4. Москва: Огонек, 48.

тирована на подключение к более общей *объяснительной схеме*.⁵ Сразу за этим выводом следует неожиданный методологический поворот:

Поскольку *гендерные модели* «конструируются» обществом (т.е. предписываются институтами социального контроля и культурными традициями), воспроизводство *гендерного сознания* поддерживает сложившиеся системы отношений господства и подчинения, а также разделения труда по *гендерному признаку*. Понятно, что в этом отношении *гендерный статус* выступает как один из конституирующих элементов социальной иерархии и системы распределения власти, престижа и собственности, наряду с этнической и классовой принадлежностью. Именно таким образом в конечном счете смещение «нервного центра» *гендерной асимметрии* от природных характеристик к социально-культурным включило отношения между полами во всеобъемлющий комплекс социально-исторических взаимосвязей.⁶

Логика «большого скачка» от «гендера» как «*фундаментального принципа* описания и анализа» (уже существующих?) различий к *гендерным моделям*, *гендерному сознанию*, *гендерному признаку*, *гендерному статусу* и *гендерной асимметрии* при этом остается непроясненной и неочевидной. Если «гендер», как и другие категории (например, «функция» или «структура»), есть ни что иное как плод аналитического воображения, облегчающий «ориентировку на местности», но не имеющий ничего общего с этой местностью, то как именно происходит трансформация этого «фундаментального принципа описания» в «один из конституирующих элементов социальной иерархии»? Кто именно выступает в данном процессе предписывающим «институтом социального контроля» и чьи именно «культурные традиции» навязываются в качестве нормативных? Не является ли эта «трансформация» элементарным следствием отождествления *метода* анализа с *объектом* анализа, т.е. следствием интеллектуальной проекции самой исследовательницы, в ходе которой аналитическая и описательная *категория* начинает определять параметры *объекта* исследования? Наконец, почему только «гендерная асимметрия» со смещенным (нервным) центром позволяет воспринимать «отношения между полами» как комплекс взаимосвязей? Вернее, почему без подобных (нервных) смещений и (гендерных) асимметрий комплексный анализ отношений между полами в отечественных условиях оказывается вдруг невозможным?

Напомню, что свою широко ныне цитируемую статью о полезной категории исторического анализа Скотт начала с примечательной фразы: «Те, чья задача состоит в кодификации смысла слов терпят поражение, потому, что слова – так же, как идеи и вещи, которые эти слова призваны обозначить, – имеют

⁵ Репина Л. П. (2000) Пол, власть и концепция «разделенных сфер»: от истории женщин к гендерной истории. // *Общественные науки и современность*, 2000, № 4. 124; курсив мой – С.У.

⁶ Там же (курсив мой – С.У).

свою историю».⁷ Далее, как известно, Скотт детально описывает *феминистский* пируэт в истории слова «gender» – слово, изначально использовавшееся для обозначения грамматического *рода*, стало сознательно употребляться феминистками для подчеркивания «социальной организации отношений между полами».⁸

Ключевым в процитированной фразе Скотт является, разумеется, слово «история». Кодификация смысла оказывается невозможной именно потому, что предыдущее, *исторически сложившееся*, значение слова вступает в противоречие с новой, *складывающейся* практикой его – слова – использования. Дестабилизирующий смысловой эффект (феминизма), таким образом, становится функцией исторического (патриархального) контекста, являясь возможным лишь при наличии определенного – в данном случае, семантического – прошлого, при наличии определенных – в данном случае, лексических – рамок. Говоря иначе, *изменение* традиций и нормативов требует в качестве своей естественной предпосылки *существования* этих самых традиций и нормативов. Или, в иной транскрипции, историзм *явления*, т.е. его трансформация во времени, может быть очевидным лишь на относительно стабильном *фоне*.

Данное соотношение динамики и статики неизбежно и при *анализе* трансформаций. О подобном методологическом законе писал еще в начале XX века Фердинанд де Соссюр, специально подчеркивая логическую невозможность *совмещения* анализа диахронических, эволюционных, отношений *между* элементами внутри системы с анализом синхронических, т.е. существующих на данный момент, отношений между элементами *и* самой системой.⁹ «Попытка объединить внутри одной дисциплины столь различные по характеру факты, - писал Соссюр, - представляется фантастическим предприятием».¹⁰

Сформулирую ту же самую мысль проще – изменение *системы* (гносеологических, лингвистических, идентификационных) координат, невозможно без устойчивой «точки» опоры *вне* этой системы, и, соответственно, можно сколько угодно заниматься «смещением центра» *в рамках* системы, не производя при этом каких бы то ни было существенных изменений ее общих параметров, будь то язык, теоретическая парадигма или, например, социальная структура. Анализ динамики «отношений *между* полами», таким образом, всякий раз с неизбежностью основывается на допущении об относительной стабильности (существования) *самых* «полов». В свою очередь, акцент на нестабильности «пола», на неспособности данной категории и явления выступать в качестве самодостаточного и телеологического *основания* как идентичностей, так и связанных с ними практик, дает возможность приступить к аналитическому разбору (или демонтажу) того гносеологического, лингвистиче-

⁷ Scott J. (1988) Gender: A Useful Category of Historical Analysis. // Scott, J. *Gender and the Politics of History*. New York: Columbia University Press, 28.

⁸ Там же (курсив мой – С.У.).

⁹ Как отмечал де Соссюр: «...синхроническое явление не имеет ничего общего с диахроническим: первое есть отношение между одновременно существующими элементами, второе – замена во времени одного элемента другим, то есть событие». Соссюр Ф. (1977) *Труды по языкознанию...*, 123.

¹⁰ Соссюр Ф. (1977) *Труды по языкознанию...*, 118.

ского и т.п. «фундамента», благодаря которому «пол», собственно, и производит впечатление изолированной, т.е. *самостоятельной*, категории.

Именно эту взаимосвязь элементов и системы и подчеркивала Джоан Скотт в своей статье «Свидетельство опыта» – не менее известной, но практически не цитируемой отечественными специалистами. Обращая внимание на то, что привилегированное аналитическое положение той или иной *категории* – в данном случае, «непосредственного опыта», – превращение этой категории и в *объект* исследования (т.е. источник знания), и в *метод* исследования (т.е. способ получения знания), с неизбежностью ведет к методологической гиперинфляции, возводящей *категорию* в статус *системы*, Скотт в частности писала:

... Если непосредственный опыт начинает восприниматься в качестве источника знания, то в результате такого подхода точка зрения отдельного индивида (т.е. очевидца или историка, описывающего опыт этого очевидца) превращается в основу доказательств, на которых строится само объяснение. В итоге сконструированность самого опыта, способы формирования различий между субъектами, принципы структурирования их видения – т.е. вопросы о языке (или дискурсе) и истории остаются за рамками дискуссии. Свидетельства опыта, вместо того, чтобы стать основой для исследования истории возникновения различий, их функционирования и способов конституирования субъектов, действующих в реальном мире, становятся доказательствами факта уже существующего различия.¹¹

Как можно примирить с этим глубоко исторически-ориентированным подходом, с этим последовательным стремлением обнаружить «археологический» фундамент и категорий исследования, и той системы, в пределах которой эти категории возникли и приобрели свое господствующее значение, настоячивые отечественные попытки убедить в аналитической полезности категории, которая не имеет ни исторического прошлого в рамках сложившейся *системы* общественности, ни устойчивых отношений с *другими категориями* данной системы?¹² Если *аналитическая* цель западных «gender studies» состоит в попытке показать, что *смысл* тех или иных категорий, используемых при создании картины реальности, исторически обусловлен и потому изменяем; если *политическая* цель западных «gender studies» как раз и состоит в практической попытке изменить *реальность*, начав с изменения категорий, с помощью которых эта реальность конструируется и приобретает структуру, то что может дать – хотя бы гипотетически – подобный терминологический импорт, при котором изначальное стремление деконструировать устоявшийся смысл базовых идентификационных категорий оказалось сведенным к стремлению обустроить символическое поле, необходимое для существования поспешно

¹¹ Scott J. (1991) The evidence of experience // *Critical Inquiry*, 1991, 17 (4), 777.

¹² Проблема *практик*, которые данная категория призвана описать, представляет собой еще один, не менее противоречивый пример соотношения импортной категории и отечественной реальности.

импортированной категории? Насколько велика прибавочная стоимость этого неэквивалентного символического (термино-)обмена?

Разумеется, речь не о том, что терминологический импорт в принципе вреден и/ли излишен – категориальный, да и концептуальный, аппарат отечественной социологии и философии во многом состоит именно из таких – случайно и/ли осознанно – «завезенных» продуктов. Проблема, повторюсь, не в импорте «продуктов», а в их усваиваемости, т.е. в их способности не вызывать реакцию отторжения организма на элементарном уровне. Виктор Шкловский, как всегда точно, сформулировал суть сходной методологической проблемы. «Трудность положения пролетарских писателей, - отмечал критик в середине 1920-х, - в том, что они хотят втащить в экран вещи, не изменив их измерения». ¹³ Именно об этом элементарном, базовом соотношении «экрана» и «вещей» зачастую и забывают сторонники «гендерного измерения». Речь, иными словами, идет о вполне конкретном случае методологической неразборчивости, в котором нежелание определиться с собственными теоретическими установками и принципами, нежелание – воспользоваться известным феминистским понятием – локализовать свою «местоположенность», т.е. нежелание очертить внешние пределы собственного поля зрения/исследования, «полезно» маскируются категорией, смысл которой остается непроясненным.

Несомненно, категориальная, концептуальная, методологическая или, например, стиливая, последовательность – личное дело каждого конкретного исследователя. Проблема в другом. На мой взгляд, подобный теоретико-терминологический импорт, как мне уже приходилось писать, ¹⁴ фактически лишает отечественную философию и социологию пола возможности продемонстрировать, что самоочевидность пола – и категории, и явления – есть результат определенных дисциплинарных усилий по формированию его *границ*, что устойчивость так называемых «половых признаков» определяется устойчивостью соответствующих классификационных схем и клише, что, наконец, степень *пол-ярности* «мужского» и «женского», как и их иерархическое соподчинение, крайне далеки от того, чтобы являться репрезентацией анатомических различий. Иными словами, отечественная генеалогия понятия «пол», история отношений этой категории с устоявшимися – политическими, экономическими, эстетическими и т.п. – категориями, как и структурная и структурирующая роль этого понятия в самой знаковой системе и символических практиках оказались сведенными на нет попытками убедить, что наряду с «полом», «половыми отношениями» и отношениями «между полами» у нас есть еще и «гендер», полезная категория для анализа. Вполне в духе традиций вульгарного марксизма, деконструкция «пола» -- так сказать, дестабилизация «базиса» -- путем транслитерации «*gender*» свелась к формированию очередной «идеологической надстройки».

¹³ Шкловский В. (1926). *Третья фабрика*. Москва: Артель писателей «Круг», 99.

¹⁴ Ушакин С. (1997) Пол как идеологический продукт: о некоторых направлениях в российском феминизме // *Человек*, 1997, № 2; Ушакин С. (1999) Поле пола: в центре и по краям // *Вопросы философии*, 1999, №5.

«Гендер», разумеется, стал только началом «большого пути»: вслед за ним уже появились «феминность» (или «фемининность?»), «маскулинность» (или «маскульность?»), «эссенциализм» и тому подобные элементы оформляющегося параллельного «новояза». Сама по себе эта настойчивая *терминологическая мимикрия* вряд ли интересна. Важно другое. Мимикрия в данном случае – это не диагноз, а симптом. Симптом колониального сознания, с его глубоко укоренившимся кризисом собственной идентичности, с его неверием в творческие способности собственного языка, с его недоверием к собственной истории и собственным системам отсчета.

Показательно, что многочисленные рассуждения о полезности «гендера» и прочих атрибутов так называемых «исследований гендера», как правило, обходят молчанием один, казалось бы, очевидный вопрос. А именно – можно ли говорить о несоразмерности импортируемого концептуального аппарата и той ситуации, для описания которой этот аппарат используется? Можно ли говорить о точках несовпадения, о тех смысловых зазорах и интервалах между «западным» термином и «местным» смыслом, благодаря которым, собственно, возникает и сохраняется историческое своеобразие? Или речь идет об универсальном теоретическом лекале, способном «охватить» любую реальность, независимо от ее происхождения? Предваряя специальный выпуск журнала *Общественные науки и современность*, посвященный «гендерным исследованиям» в России, известный феминистский философ, например, отмечает:

В то время, как на Западе уже сформировались идеи о необходимости различать понятия «пол» и «гендер» (70-ые годы), в России слово «пол» употреблялось и тогда, когда речь шла о биологических его аспектах, и когда имелись в виду его социальные аспекты, и даже тогда, когда говорили лишь об элементах комнатного декора.¹⁵

Философ удобно забывает добавить, что на Западе речь шла о различении «sex» и «gender», т.е. о различении категорий, ни одна из которых не имеет однозначного эквивалента в русском языке; более того, подобное различение «sex» и «gender» происходило и происходит в рамках одного и того же языка – путем сознательной дестабилизации глубоко укоренившихся смыслов. Показательно и другое – вместо использования уже имеющейся *полифонии* смысла таких понятий как «пол», «род», «мужественность», «женственность», вместо попыток проследить условия возникновения подобных семантических смещений и переплетений, предлагается внедрить одномерный «западный» стандарт, провести своего рода теоретический евроремонт....

Пожалуй, единственным серьезным теоретическим тезисом в защиту «гендера» является попытка показать, что «пол» – в отличие от «гендера» – не является продуктом и объектом власти, ее дискурсивных и институциональных механизмов подчинения и господства. В *историческом плане* сомнительность подобного аргумента очевидна любому читателю «Домостроя» или

¹⁵ Воронина О. (2000) Социокультурные детерминанты развития гендерной теории в России и на Западе. // *Общественные науки и современность*. 2000, № 4, 19.

«Морального кодекса строителя коммунизма»: род, родовые отношения, пол, половая идентичность, половые отношения и, наконец, отношения между полами на протяжении отечественной истории являлись объектом постоянного социального контроля и коррекции, объектом подавления и сопротивления. Что именно, кроме терминологической невнятности, к этой истории может добавить «гендер»? Теоретически же – помня выводы Фуко о капиллярном присутствии власти, о ее скрытом/скрываемом характере – тезис о «безвластном» поле лишь подтверждает успешность действия самой власти, ее способность репрезентировать в качестве «абсолютно невинных» именно те объекты и явления, концентрация властных отношений в которых является особенно критической.

В своем недавнем тексте, рассуждая об эволюции предложенной ею «полезной категории», Скотт – не без горечи – заметила, что деление «sex/gender» привело к неожиданному результату – «sex» стал восприниматься как неоспоримая данность, а, в свою очередь, «gender» приобрел «вкус обществоведческой нейтральности». Как пишет Скотт,

Именно поэтому все реже и реже в своих работах я использую «gender», предпочитая вместо этого говорить о различиях между *sexes* и о биологическом *sex* как исторически изменчивой концепции. [Хотя] это... может быть воспринято (особенно в нынешнем дискурсивном контексте) как одобрение идеи о том, что *sex* является естественным фактом, мне все же кажется, что поиск терминов и теорий, способных поставить под сомнение самоочевидность истории вообще и истории женщин в частности, необходимо вести в другой плоскости. Я не предлагаю вычеркнуть *gender* и те полезные понятия, которые ассоциируются с этим термином, из нашего словаря. Речь не идет и о попытке полицейского контроля за использованием этого термина для того, чтобы обеспечить господство нашего смысла. Это не только невозможно, но и свело бы на нет гибкость и подвижность языка, его решающую роль в социальных изменениях. Скорее, мне думается, нам нужно двигаться вперед, провоцируя переосмысление допущений, ставших уже рутинными. Именно тогда, когда мы думаем, что мы знаем точный смысл слова, именно тогда, когда его употребление перестает вызывать споры и дебаты, нам особенно нужны новые слова и новые концепции или, может быть, новые конфигурации и интерпретации уже существующих идей.¹⁶

Вопрос в том, нужна ли *нам* эта ревизия уже существующих идей. Или мы так и останемся с «гендером»? Полезной категорией из чужого анализа...

¹⁶ Scott, J. (2000) *Millennial Fantasies: The Future of Gender in the 21st Century*. Paper presented on May 6, 2000 at the seminar *Production of the Past*, Columbia University, New York.

Ревизия мужественности

Попытка переосмыслить содержание и конфигурации «мужественности», на мой взгляд, является одним из примеров интеллектуальной ревизии аналитического аппарата, о необходимости которой говорит Скотт. Попыткой ревизии терминологических, концептуальных, и методологических допущений, которые в силу своей «самоочевидности» обычно вопросов не вызывают.

Упрощая, подходы к «мужественности» можно свести к трем основным тезисам – к тезису о *плюралистичной мужественности*, к тезису об *относительной мужественности*, и наконец, к тезису о *показательной мужественности*. Не претендуя на исчерпывающий анализ этих тезисов, я лишь кратко попытаюсь очертить основной круг вопросов и тех методологических предпосылок, с помощью которых появление данных тезисов стало возможным.

Плюралистичная мужественность. Разумеется, один из наиболее простых и привлекательных способов анализа базовых противоречий «*мужественности*» состоит в традиционном стремлении вскрыть внутреннюю структуру этого знака, продемонстрировать *произвольность взаимосвязи* между «означающим» и «означаемым» из которых, собственно он и состоит.¹⁷ При таком подходе знак «мужественности» обычно распадается на множество форм «*мужского поведения*», и сосюрская дихотомия *означающее/означаемое* трансформируется в дихотомию *категория/практика*, в которой «мужественность» (означающее) *проявляет себя* в неоднородной совокупности «*мужских практик*» (означаемые). Например, в культовом советском фильме «*Ирония судьбы, или С легким паром*» закадровый (авторский?) голос наполняет сосюрскую схему следующим содержанием:

...Раньше настоящие мужчины ходили в манеж гарцевать на выхоленных лошадях, отправлялись в тир стрелять в бубнового туза, в фехтовальные залы – сражаться на шпагах, в Английский клуб – сражаться за карточным столом, а в крайнем случае шли в балет. Сегодня настоящие мужчины ходят в баню. Тот, кто думает, что баня существует исключительно для мытья, глубоко заблуждается. В баню ходят главным образом для того, чтобы пообщаться друг с другом.... В предбаннике современные голые мужчины, завернутые в белые простыни, наконец-то становятся похожими на римских патрициев. Именно предбанник и есть тот самый

¹⁷ У Сосюра, напомним, «языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ. Этот последний является не материальным звучанием, вещь чисто физической, а психическим отпечатком звучания, представлением, получаемым нами о нем посредством наших органов чувств... Языковой знак есть, таким образом, двусторонняя психическая сущность... Мы предлагаем сохранить слово *знак* для обозначения *целого* и заменить термины *понятие* и *акустический образ* соответственно терминами *означаемое* и *означающее*...» Сосюра Ф. (1977) *Труды по языкознанию*..., 99-100.

клуб, где, никуда не торопясь, позабыв каждодневную гонку, можно излить душу хорошему человеку.¹⁸

«Настоящность» мужчины, таким образом, определяется тем, куда этот мужчина *ходит*, т.е. смысл *термина* («настоящий мужчина») оказывается подмененным *объектом действия* (т.е. манеж, тир, зал, клуб, баня). Или – в иной транскрипции – позитивное значение («мужественности») в данном случае проявляется в виде *знаковых* («мужских») *действий*, призванных очертить семантические границы поля (мужского) пола. Именно на этом семантическом, вернее, семиотическом характере *ритуалов* индивидуального поведения, в конспективной форме содержащих необходимую и достаточную информацию о половой идентичности их исполнителя, и фокусируются исследователи, трактующие половую идентичность как совокупность усвоенных и публично демонстрируемых знаковых образов и действий. При этом обычно остается в тени то, что (якобы) метонимическая природа этих знаковых действий, т.е. их способность выступать *частичной* формой, *частичным* проявлением («репрезентацией») более *общего* явления, есть ни что иное, как *стратегическая фантазия*, иллюзорная попытка скрыть фундаментальный факт отсутствия этого самого *общего* явления, этого никогда не существовавшего «безымянного фильма», «кинокадрами» которого и являются знаковые действия.¹⁹ Как отмечал Жак Деррида: «Когда мы оказываемся не в состоянии постичь или продемонстрировать явление, состояние наличия, наличия бытия, когда это наличие не в состоянии быть налицо, тогда мы означаем (signify), мы идем в обход при помощи знака».²⁰ Или, добавлю, при помощи *знаковых* действий.

На мой взгляд, это фундаментальное «отсутствие присутствия», лежащее – в данном случае – в основе «мужественности» и эта неустанная символическая работа по воспроизводству соответствующих *знаков* и *знаковых* действий, которые и призваны компенсировать «наличие отсутствия», остается за скобками процесса аналитической «плюрализации мужественности». Несмотря на всю свою (временную) нужность и полезность, подобные попытки говорить о вариативности нормативов и изображений «мужественности», о многочисленности версий и форм практической реализации «мужественности», о характере иерархий этих форм и версий, наконец, о способах установления и поддержки

¹⁸ Брагинский Э. и Рязанов Э. (2000) Ирония судьбы, или с легким паром. // Брагинский Э. и Рязанов Э. *Тихие омуты*. Москва: Вагриус, 223.

¹⁹ Сергей Эйзенштейн в своих мемуарах хорошо сформулировал как именно скрывается это отсутствие целого в кино: «Нужна особая синтезирующая способность мышления, чтобы из этих данных анализирующего зрения суметь разглядеть решающую деталь, характерную деталь, деталь, способную в осколке целого воссоздавать представление о целом». Эйзенштейн С. (1997) *Мемуары. Том второй: Истинные пути изобретения. Профили*. Москва: Редакция газеты «Груд», 36. Показательно, что само фактическое *отсутствие целого*, его – целого – *осколочное*, раздробленное, частичное присутствие оказывается преодоленным посредством эффекта *аналитического зрения*.

²⁰ Derrida, J. (1986) *Margins of Philosophy*. Trans. by A. Bass Chicago: University of Chicago Press, 9.

гегемонии того или иного варианта «мужественности», в конечном итоге, как мне кажется, лишь воспроизводят ситуацию, о которой упоминал Деррида. Ситуацию, в которой попытки «живописать» знаковые «осколки мужественности» волюно или неволюно становятся попыткой обхода (и ухода от) основного вопроса о *категориальной*, структурной – т.е. лишенной *собственного* смысла – природе «мужественности». Ситуацию, в которой забывается, что иерархическая лестница «гегемонной» («гегемониальной», «гегемонистской») мужественности в конечном итоге «ведет к нарисованным дверям» и существует лишь пока идешь по ней.²¹ Иными словами, вопрос о сути «мужского» (и «мужественного») трансформируется в данном случае в вопрос о «мужском» (или «мужественном») характере специфических функций, явлений и ситуаций; стремление (вос)создать исчерпывающую карту мест, в которые «ходит» мужчина (манеж, тир, зал, клуб, баня...), оставляет за скобками этой картографической деятельности вопрос о характере формирования самого феномена «мужчины».

Относительная мужественность. Один из способов преодоления аналитической тупиковости «мультикультурной мужественности» состоит в стремлении понять, что находится *за границей* понятия «мужественность», т.е. – в определении тех комбинации, в которых «мужественность» оказывается в состоянии продемонстрировать свою уникальность, в определении тех фоновых параметров, благодаря которым контуры «мужественности» просматриваются особенно отчетливо. Речь, таким образом, идет не столько об анализе отношений между *означающим* и *означаемым*, сколько об анализе отношений между разными *означающими*: пара «мужественность»/«практики мужественности» сменяется парами «мужественность»/«женственность», «мужественность»/«слабость», «мужественность»/«сентиментальность» и т.п. Смысл понятий в итоге перестает быть непосредственным производным, непосредственной функцией неких «глубинных», «данных» структур, и становится ситуативным эффектом, ситуативным следствием *отношений между* понятиями.

Подобная замена вопроса «*Что означает этот знак?*» на вопрос «*В каком контексте находится этот знак?*» предполагает и определенную трансформацию аналитического подхода: *этнография* «мужских практик» уступает место анализу *риторических приемов*, с помощью которых эти практики приобретают статус «мужских». *Семантика* «пола» оказывается подчиненной *риторике* «пола»: т.е. не столь важно *что* именно говорится, важно *как* достигается необходимый риторический эффект. В определенной степени подобный подход можно сравнить с техникой Э. Уорхолла, который в своей серии «портретов» М. Монро добивался вариативности зрительных эффектов *исключительно* при помощи использования различных красок для раскрашивания одного и того же лица-контура. В отличие, скажем, от кубизма или примитивизма, в данном случае новые зрительные эффекты достигались не за счет привычной *трансформации образа* – сама графическая форма образа у Уорхолла оставалась неизменной, – а за счет разнообразия *комбинаций* цветовых *поверхностей* этого образа.

²¹Шкловский В. (1926). *Третья фабрика*. Москва: Артель писателей «Круг», 46.

Аналогичное внимание к *оформлению* – в прямом смысле этого слова – поверхностей «мужественности» позволяет установить те «цветовые» компоненты и комбинации, с помощью которых графический знак-контур оказывается в состоянии производить разнообразные смысловые эффекты. Приведу пару примеров. В романе Веры Кетлинской «*Мужество*», написанном в конце 1930-х г. о строительстве Комсомольска-на-Амуре приводится следующее авторское описание двух героев:

Геннадий Калюжный был прямодушен и упрям. Он принадлежал к породе людей, которые не дают себе труда много думать и охотно принимают готовыми результаты размышления других. Он был силен как бык и чувствовал в этой силе свою лучшую защиту и лучшее подспорье. Но, как большинство сильных мужчин, он был добр и нуждался в любимом и более слабом друге, чтобы расходовать свою силу на двоих. Этим другом был Сема. Они подружились много лет назад, еще мальчишками, когда Геннадий защитил Сему в неравной драке, в которой Сема ни за что не соглашался отступить. Сема был слишком горд, чтобы благодарить его, он ушел с окровавленной губой и синяками, но сохранил в глубине души признательность и восхищение. Они ходили еще некоторое время друг около друга, не сближаясь, пока Семе не удалось доказать Геннадию превосходство своего ума и своих знаний, чтобы таким образом уравнять шансы. Геннадий отнюдь не был горд, он был молодым теленком, готовым одинаково и бодаться и тереться мордой о ласковую руку. Он ринулся навстречу дружбе, отдаваясь ей целиком и заранее признавая себя слабейшим во всем, кроме мощи своих великолепных мускулов.... На пути их дружбы еще ни разу не становилась женщина – это величайшее испытание мужской дружбы.²²

Вот в какой форме выступает само «величайшее испытание»:

Епифанов был так силен и так мощно здоров, что девушки представлялись ему страшно слабенькими. Они так малы, так непрочны, у них такие нежные косточки, такие слабые мускулы, такие маленькие ноги. Их слабость умиляла его и притягивала. Он твердо верил, что обязанность мужчины – охранять их, брать на себя все их заботы, быть их защитником и помощником. И вот теперь эта Лиденька... Он так ясно представлял себе ее беспомощность среди нахлынувших житейских дел... «Кто поможет ей? Кто снесет ей вещи на вокзал? Кто будет оберегать ее в поезде? Он лег на койку, удрученный чужим горем...»²³

Понятия «сила» и «слабость» подаются здесь сначала в виде тезиса об «одной силе на двоих», который затем трансформируется в «силу как отсутствие слабости». Риторический эффект достигается в общем-то традиционным способом – через подмену тезиса, в данном случае – через описание того,

²² Кетлинская В. (1960) *Мужество*. Москва-Ленинград: Госиздат, 343-344.

²³ Там же, 369.

кто этой «силы» лишен. Различимость двух означающих, таким образом, конституируется как их *различность*, т.е. отдельные означающие превращаются в пару. Так «слабость» становится мерилем и гарантом «силы»: мощь Геннадия рисуется при помощи «окровавленной губы и синяков» Семы, сила Епифанова – посредством «нежных косточек» и «маленьких ног» бесчисленных лиденек. Благодаря *принципу смещения*, центром описания становится не столько сам главный герой, и даже не столько его непосредственные заслуги и подвиги, сколько тот фон, на котором контур героя выглядит наиболее успешно. Важно и другое – в обоих случаях мотив «силы» возникает в контексте более широкой темы «внешней опасности», где «сила» выступает либо в качестве лучшей защиты и лучшего подспорья» (у Геннадия), либо как условие реализации «обязанности мужчины» по охране женщины (у Епифанова). Показательно, что при этом в обоих случаях *источник* (возможной) угрозы – надо полагать, со стороны других «сильных мужчин» – остается неупомянутым. Деконтекстуализация «внешней опасности» и постоянной «необходимости защиты» становится оправданной за счет тщательного «монтажа» кадров, за счет детального изображения (и постоянного присутствия) потенциальных жертв. Мерилем собственного героизма и легитимирующим принципом поддержки «боевой готовности» становится не сила противника и даже не количество затраченных усилий, а степень чужих страданий. Так сказать, чем ночь темней, тем ярче звезды...²⁴

Таким образом, принципиальная зависимость от другого, вернее, само наличие *принципиально другого* становится определяющим для данного способа формирования «относительной мужественности». Индивидуальность (от лат. *individualis*, «неделимый») оказывается в принципе невозможной и *относительность* превращается в *постоянное* условие существования. Жак Лакан в одном из своих семинаров, на мой взгляд, отразил эту фундаментальную относительность и зависимость идентичности от другого особенно четко. Как пишет Лакан:

Другой в подлинной речи – это тот, перед кем ты хочешь предстать узанным. Но чтобы предстать узанным перед Другим нужно сначала признать его самого... Именно посредством признания Другого ты создаешь его – не в качестве незамутненного и простого элемента реальности, своего рода пешки или марионетки, но в качестве непреодолимого абсо-

²⁴ Приведу еще одну цитату из мемуаров Эйзенштейна – в данном случае о роли монтажа в достижении необходимого зрительного эффекта. Как пишет кинорежиссер: «Из «пучка возможных» элементов монтаж смелой рукой отбрасывал все то, что в данном месте не было «необходимым»... Но мало этого, монтаж не только выбирал. Монтаж еще и интенсифицировал отобранное. Монтаж это делал магией размеров, заставляя вытаращенный глаз становится размером с мчащийся на человека поезд, а пламя фитиля быть крупнее общего плана крепости, которая должна взорваться от его вспышки...» Эйзенштейн С. (1997) *Мемуары. Том второй: Истинные пути изобретения. Профили*. Москва: Редакция газеты «Труд», 182-3.

люта, от существования которого – в качестве субъекта – зависит сама значимость той речи, благодаря которой ты и оказываешься узан.²⁵

Как мне кажется, этот диалогизм идентичности, ее – идентичности – ориентированность вовне, ее стремление определить свои границы через определение границ Другого, и – в силу этого – ее постоянная формообразующая зависимость от Другого, короче – именно эта исходная *разделенность*, эта изначальная, так сказать, *дивидуальность*, заставляет несколько настороженно относиться к попыткам ряда исследователей видеть в Другом лишь отражение *кризиса* (мужской) идентичности, своего рода параноидальные фантазии, призванные *компенсировать* собственные фобии и комплексы *неполноценности*, своего рода собственную несамодостаточность. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вот эти не-достаточность и не-полноценность являются исходными принципами *любой* идентичности. Точнее – любая идентичность, понятая как та или иная социальная форма существования, при помощи которой субъект может рассчитывать на определенное признание со стороны общества, призвана не столько *восполнить* и *возместить* эту не-полноценность, сколько – помня Деррида – *скрыть* это наличие отсутствия. Речь, таким образом, о том, что *Другой*, с принципиальной недостижимостью и непостижимостью его позиции, занимает не столько *противоположный*, запредельный фланг спектра идентификационных возможностей, сколько находится *в основе* самого стремления к обретению идентичности. Иными словами, радикальная (или радикализованная?) оппозиционность «женственности», благодаря которой «мужественность» оказывается в состоянии поддерживать видимость своей категориальной *само-стоятельности*, превращается в «муже(N)ственность», где неизвестность *N* одновременно является и источником постоянного беспокойства и источником постоянной потребности к иллюзорной реставрации никогда не существовавшей «целостности», будь то целостность понятия или целостность идентичности.

Любопытно, что в своем анализе русских сказок Владимир Пропп замечает, что «осознание недостачи» или утраты («Одному из членов семьи чего-либо не хватает, ему хочется иметь что-либо») является *обязательной и единственной* формой завязки волшебной сказки.²⁶ Как пишет исследователь,

В тех сказках, где нет нанесения вреда, ему соответствует ...недостача... Начальная нехватка или недостача представляет собой ситуацию. Можно представить, что до начала действия она длилась годами. Но настает момент, когда отправитель или искатель вдруг понимает, что ему чего-то не хватает... Герой (или отправитель) теряет свое душевное равновесие, загорается тоской по раз увиденной красоте, и отсюда развивается все действие.... [Также] недостача осознается через персонажей-посредников,

²⁵ Lacan J. (1997) *The Seminar of Jacques Lacan. Book III: The Psychoses (1955-1956)*. York: W. W. Norton & Company., 511.

²⁶ Пропп В. (1998) *Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки. (Собрание трудов В. Я. Проппа)*. Сост. И.В. Пешков. Москва: Лабиринт, 30-31.

которые обращают внимание Ивана на то, что ему недостает чего-либо. Чаще всего это родители, которые находят, что сыну нужна невеста. Эту же роль играют рассказы о необычных красавицах. Эти и подобные рассказы... вызывают поиски.²⁷

Вывод Проппа в полной мере приложим и к анализу «мужественности» - осознание и преодоление «начальной нехватки», «недостачи», иными словами, осознание и преодоление очередным «Иваном» исходного, изначального *отсутствия* целостности «мужественности» становится и источником развития и основным содержанием сюжета его жизни.

Показательная мужественность. Как уже говорилось, следуя соссюровской логике знака, смысловые эффекты «мужественности» могут быть образованы при помощи использования ряда структурных возможностей самого знака. Анализ отношений *внутри* знака (т.е. анализ отношений *связи* между означающим и означаемым) позволяет продемонстрировать многообразие *практик* (означаемых), которые оказываются «подверстаны» к одному и тому же означающему. В свою очередь, акцент на местоположении знака («мужественности») *в цепи других* знаков («женственность», «национальность», «профессия», «сексуальность» и т.п.) дает возможность определить те синтаксические и лексические «комбинации», в которых «мужественность» достигает желаемого смыслового эффекта особенно четко. В обоих случаях, однако, этот эффект во многом строится на логике отражения, согласно которой в каждом из *осколков* «мужественности» находит проявление некий скрытый, глубинный, сущностный смысл *целостной* «мужественности». Вопрос, соответственно, в том насколько оправдан данный тезис о «мужественности-как-таковой»? Не являются ли эти разрозненные, несовпадающие, нестыкующиеся «осколки», так сказать, собственно «зеркалами», никогда и не имевшими «целостной» формы? И насколько целесообразно в принципе говорить о *глубине* отражений этих «зеркал»? Иными словами, не является ли эта «осколочная мужественность», эта «мужественность-данная-нам-в-ощущениях» единственно доступной и возможной формой «мужественности»? Насколько реально ее, так сказать, «внесценическое», «закулисное» существование? Без *полюси* традиционных реквизитов, мизансцен и сценариев?..

На мой взгляд, Джудит Батлер, философ из Калифорнийского университета в Беркли, абсолютно права, когда – следуя Жаку Лакану – говорит о том, что (любая) идентичность не мыслима и не существует вне своего основного принципа – принципа цитатности, т.е. вне воспроизводства сложившихся общепризнанных дискурсивных форм. Однако, в отличие от многочисленных вариантов теории социализации с ее «ролевыми играми» и «стратегическими саморепрезентациями», цитатная идентичность Батлер не предполагает наличия некой мета-идентичности (например, в виде «мужчины»), некой мета-структуры (например, в виде «пола»), или некой мета-функции (например, в виде «биологии»), логика которых способна связать воедино все исполняемые «роли». Условно говоря, именно благодаря *отсутствию* объединяющего названия «Кинокадры...» Шерман приобретают эффект *серии*. Именно благодаря

²⁷ Там же, 58-59.

отсутствию *основной* темы разрозненные и несовпадающие «цитаты» превращаются из традиционного дополнения или иллюстрации к *авторскому* тексту в самостоятельный текст, не существующий и не возможный вне своей цитатности. «Никакой половой идентичности за проявлениями пола не скрывается, - пишет Батлер, - ...идентичность конституируется в процессе представления теми самыми «проявлениями», которые считаются ее результатами».²⁸

Поясню эту идею на примере. В пародийном романе Юрия Полякова «*Козленок в молоке*» главное действующее лицо на спор берется сделать знаменитого «писателя» из первого попавшегося встречного. Вернее – добиться для него «всемирной славы» исключительно нелитературными методами. Вот как описывает процесс *конструирования* «образа писателя» главный герой:

...писатель не может быть одет, как рядовой инженер или учитель, ибо тогда сразу возникает законный вопрос: почему в этом случае он работает писателем, а не инженером или учителем? Конечно, проще всего было взять пример с дедушки Хэма – ковбойка, грубый свитер, джинсы, ботинки на толстой каучуковой подошве. Но по этому пути уже не первое десятилетие идут графоманы всех рас и народов, и тут легко затеряться. В задумчивости я распахнул мой платяной шкаф. Первое, что бросилось мне в глаза, - торчавшая из кучи тряпья пятнистая штанина... Эти десантные брюки лет десять назад мне подарили в одной воинской части... Я... внимательно осмотрел пятнистые брюки и решил принять их за основу. Следующим был синий стеганный восточный халат, полученный в подарок от кумырского поэта Эчигельдеева... Поразмыслив, я отложил халат в сторону, ибо он придавал будущему имиджу Витька некоторую излишнюю ориенталистичность... Но вот следующую вещицу – черную майку с надписью «LOVE IS GOD» я решил пустить в дело... В самой глубине шифоньера, точно хищник, затаилась лохматая доха закарпатского пастуха. ... получился довольно забавный силуэт... С головой дело обстояло сложнее. Широкополую шляпу я отверг с ходу, ибо в ней было что-то извращенно-эстетское, совершенно не подходящее лесному гению из заснеженной деревушки Щимыти. Но и кожаная кепка с пуговкой на макушке, а просторечье – «цэдэловка», тоже не подходила Витьку, ибо каждый самонадеянный графоман срифмывавший за всю свою жизнь четыре строчки, норовил завести себе такую же. ...теннисная повязка с надписью «Wimbledon» ...достойно увенчала мои поиски... С одеждой вопрос был решен положительно. Как говорится, по одежке встречают... Но провожают, разумеется, не по уму, а по тому, что давно уже в нашем вывихнутом мире успешно заменяет ум – по словам. Слова-то для Витька мне и предстояло придумать...²⁹

²⁸ Butler J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge, 25.

²⁹ Поляков Ю. (1997) *Козленок в молоке*. Москва: Вагриус, 61-66.

При всей своей комичности, этот отрывок, тем не менее, хорошо иллюстрирует суть «показательной мужественности», основанной на принципе цитатности. Смысловый эффект, с одной стороны, достигается хорошо знакомым способом – т.е. путем *демонстрации* определенных, легко прочитываемых знаков, каждый из которых, в свою очередь, мог бы стать началом отдельной *знаковой цепочки*, раскрывающей глубинные смыслы идентичности. В то же время, принципиальное отличие данного типа «мужественности» состоит в том, что традиционные внешние «показатели содержания» (пятнистые брюки, черная майка, пастушья доха, теннисная повязка) ни *показательной* функции – т.е. ориентирующей и отсылающей к другим смысловым уровням, – ни *содержательной* функции – т.е. разъясняющей суть происходящего, – здесь не выполняют. Лишенные своего «внутреннего» и «внешнего» контекста, «показатели» приобретают смысл лишь благодаря своим *формальным, отличительным* признакам, лишь благодаря своей способности не совпадать друг с другом в пределах сложившейся/сложенной комбинации. Знаковые *действия* (походы в манеж тир, зал, клуб, баню...) сменяются действиями знаков (брюки, майка, доха, повязка...), вернее, действиями между разными знаками.

Подобная *поверхностная*, не претендующая на глубину, роль знаков в формировании *показательной мужественности*, на мой взгляд, не имеет ничего общего с идеей карнавального, маскарадного травестирирования существующего символического порядка. В основе данного подхода, лежит феномен *мимикрии* сходный, но не совпадающий с идеей маскарада. Подобно маскараду, мимикрия также строится на игре с поверхностями. Однако, если за маской участника маскарада скрывается лицо, если суть маскировки/маскарада и состоит в изначальном *существовании* расхождения между лицом и маской, то «поверхностная игра» мимикрии преследует иную цель – личиной мимикрирующей поверхности продемонстрировать принципиальную «нехватку», манифестировать «*наличие* отсутствия» какого бы то ни было исходного, «*основного* лица». *Показательная мужественность* становится тем невыразимым *Ъ*, благодаря которому очередной «коммерсантъ» молчаливо строит свои *знаковую* стратегию (языкового) отличия – отсутствующего в речи, видимого при письме.

«Футляр» наличной идентичности, выстроенный для внешнего – показательного и показного – потребления, таким образом, становится одновременно и броней, и тем «наружным скелетом», защитные свойства которого позволяют начать заполнение внутренних пустот. И символическая, дискурсивная, знаковая природа этого «футляра», его заимствованность, его двойная («своя/чужая») принадлежность не должны скрывать его принципиальной конституирующей функции.

Подобная цитатность понята как форма существования, в свою очередь, позволили Батлер говорить о *представляемом*³⁰ (performative) характере «по-

³⁰ «Представлять» по Далю – «доставить, поставить человека налицо», «отрекомендовать, назвать наличного человека», «изобразить, изъяснить словами», наконец – «корчить, подражать, принимать вид, наружность чью-либо». Даль В. И. (1999) *Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х тт.*, М.: Русский язык, т. 3, 389.

ла» и «идентичности». То есть о характере, который одновременно подчеркивает *воспроизводимость, повторяемость, цитируемость*, - т.е. в буквальном смысле *представляемость* того, что принято считать типичными половыми признаками, и в то же время самим фактом своего *представления* четко обозначает *сфабрикованную, замещающую, призрачную* природу этих признаков. Вопрос, естественно, в том, что лежит в основе риторической эффективности и эффектности этих призрачных признаков?

Говоря об эмоциональной убедительности определенных речевых практик, которые даже вне своего привычного контекста могут производить сильный эмоциональный эффект (например, оскорбления со стороны абсолютно незнакомых, чей статус и мнение не важны), Батлер отмечает:

Основа временного успеха представляемого (a performative) ... заключается не в том, что намерение [оскорбить] поглощает собой сам речевой акт, но только в том, что этот акт есть эхо предыдущих действий, в том, что он *аккумулирует силу власти посредством воспроизводства и цитирования ряда действий, которые пользуются влиянием*. Дело не только в том, что речевой акт в данном случае имеет место в *рамках* практики, но в том, что этот акт сам по себе уже есть ритуализованная практика. Таким образом, представляемое «работает» лишь тогда, когда оно и *основывается на конституциональных конвенциях, благодаря которым стало возможным, и одновременно перекрывает их*. В этом смысле ни термин, ни заявление не могут функционировать представительно без аккумуляции и симуляции историчности силы.³¹

Залог смыслового эффекта *представляемого*, его убедительность, таким образом, заключается в степени прошлой авторитетности/авторитарности доступных для воспроизведения слов, жестов и действий.³² Анализ биографий в итоге вытесняется анализом речевых и – шире – дискурсивных форм/цитат, из которых эта биография составлена. И «степень мужественности» говорящего субъекта отражает степень владения субъектом соответствующими формами речи. Иерархия «мужественностей», таким образом, воспроизводит существующую иерархию доступности дискурсивных форм, не связанных напрямую с половой идентичностью. Непротиворечивость этих форм в рамках той или иной жанровой разновидности «мужественности» их стилевая «целостность» есть лишь отражение корректирующей дискурсивной практики, есть следствие своеобразного – посредством *поляризации* и *маргинализации* – дискурсивного «монтажа кадров», целью которого является воспроизводство очередного футляра половой идентичности. Очередного человека в футляре. Человека рода он....

³¹ Butler J. (1997) *Excitable Speech: a Politics of Performativity*. New York: Routledge, 51.

³² Butler J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge, 136.